

РАЗДЕЛ II МЕТОДОЛОГИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА ЭТОСА НАУКИ

М.А. Розов

К методологии анализа этоса науки*

Изучение этоса науки упирается, по нашему мнению, по крайней мере, в следующие достаточно сложные методологические проблемы. Во-первых, нам необходимо выяснить, где и как существуют те нормы, которые подлежат нашему изучению; во-вторых, необходимо ответить на вопрос о способах описания этих норм; в-третьих, наконец, надо определить, как соотносится исследование этоса науки с анализом ее нормативной структуры в целом. Рассмотрим эти проблемы в той последовательности, как они сформулированы. Мы при этом не пытаемся в данной статье решить эти проблемы, наша задача их разъяснить, ибо, как нам представляется, на них не обращают должного внимания.

Проблемы изучения социальных норм

Социальные нормы или, что то же самое, социальные программы, определяющие поведение и деятельность человека, в наиболее простом своем виде существуют на уровне социальных эстафет, т.е. на уровне воспроизведения непосредственных образцов. Ребенок, выросший в русскоязычной среде, будет говорить по-русски, в англоязычной — по-английски. Но у ребенка нет никаких источников информации о языке, кроме непосредственных образцов речевой коммуникации. Огромное количество социальных норм, определяющих поведение ученого в сфере науки, тоже существуют на уровне непосредственных образцов. Это образцы экспериментов, образцы решений задач, образцы рассуждений.

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 04–03–00093а.

Более сложные формы существования социальных норм — это вербализованные образцы, т.е. образцы, зафиксированные средствами языка. Это описания проведенных экспериментов, зафиксированные в тексте образцы решений задач и т.д. Образцы такого рода мы встречаем уже в древнеегипетских математических папирусах, не говоря уже о современной науке. Следует различать вербализованные образцы и правила или алгоритмы. Одно дело задать образец вычисления площади данного конкретного треугольника, другое — сформулировать правило «площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту». Далеко не все образцы мы способны представить в виде правил. Но там, где это происходит, мы всегда имеем некоторый новый шаг в развитии науки.

А теперь сформулируем тезис, который является основным для построения дальнейших рассуждений. Суть в том, что образцы не задают четкого множества возможных их реализаций. Воспроизводя тот или иной образец, мы должны делать нечто похожее, но, строго говоря, все на все похоже, а образец не указывает, о каком сходстве, о сходстве по каким именно параметрам идет речь. Это означает, что воспроизведение образцов всегда ситуативно и зависит от конкретного контекста воспроизведения, от конкретной ситуации, от наличия других образцов. Но образцы — это базовый, исходный механизм существования социальных программ, это механизм существования языка и речи, а следовательно, и вербализованных образцов. Иными словами, мир социальных норм, включая сюда и этос науки, объективно представляет собой нечто лишенное четкой определенности. Он отчасти похож на мир квантовой механики, где микробъект сам по себе не имеет динамических характеристик, например, координаты и импульса.

Что же мы должны изучать и описывать, если речь идет о социальных программах науки, включая ее этические нормы? Рассмотрим первоначально этот вопрос на материале языкознания, где возникают аналогичные проблемы. Приведем несколько типичных высказываний по этому поводу, которые достаточно поучительны.

Можно ли утверждать, что, разговаривая на родном языке, мы опираемся на какие-то правила? «Очевидно, — пишет Н.Хомский, — что каждый говорящий на языке овладел порождающей грамматикой, которая отражает знание им своего языка. Это не значит, что он осознает правила грамматики, или даже что он в состоянии их осознать, или что его суждения относительно интуитивного знания им языка непременно правильны. Любая интересная порождающая грамматика будет иметь дело, по большей части, с процессами мышле-

ния, которые в значительной степени находятся за пределами реально-го или даже потенциального осознания; более того, вполне очевидно, что мнения и суждения говорящего относительно его поведения и его компетенции могут быть ошибочными»¹.

Итак, каждый говорящий «овладел порождающей грамматикой», но это вовсе не значит, что он может сформулировать ее правила. Он этими правилами овладел, но он их не осознает. Разве это не загадка? Аналогичные высказывания мы встречаем в работах психолингвиста Д.Слобина. «Мы уже не раз отмечали, — пишет он, — что говорящий знает правила своего языка, что в речи ребенка появляются различного рода правила... Слово «правило» может создать у вас впечатление, что психолингвисты предполагают у людей умение формулировать эксплицитные грамматические правила и что дети обучаются этим правилам. Конечно, мы имеем в виду совсем другое. Никто из нас не может, например, сформулировать все правила английской грамматики»². О каких же тогда правилах идет речь? «С точки зрения ученого, — пишет Слобин, — все сказанное означает, что возможно описать поведение говорящего в терминах некоторой системы правил. Однако такое описание не должно ставить перед собой цель доказать, что изобретенные учеными правила реально существуют в сознании индивида в каком-то психологическом или физиологическом смысле»³. Как же именно и в какой форме они существуют? На этот вопрос мы уже ответили выше.

Вырисовывается следующая картина. Наблюдая поведение человека, наблюдая, в частности, практику словоупотребления, мы можем выявить в этом поведении некоторые закономерности или «правила», мы можем эти закономерности более или менее четко сформулировать. Это, однако, не будет означать, что человек в своей деятельности руководствуется этими правилами, что они образуют внутренний механизм его поведения. Существует, следовательно, какой-то другой механизм. Напрашивается следующая естественнонаучная аналогия. Закон Бойля и Мариотта описывает феноменологию «поведения» газа, но вовсе не выявляет внутренний механизм этого поведения. Последний описывается кинетической теорией газов. Только эта теория, строго говоря, объясняет нам, что такое газ. Правила грамматики в этом плане очень похожи на феноменологические закономерности, и им никак не следует приписывать функций выявления механизма воспроизведения речи.

Аналогичным образом формулируя нормы науки, мы описываем феноменологию поведения ученого, но никак не подлинные механизмы его работы. С этим можно было бы и примириться, но в ус-

ловиях четкого осознания того, что именно мы делаем и на что не можем претендовать. Мы должны осознать, что формулируемые нами «нормы» — это вовсе не те программы, на которые ученый фактически опирается в своей работе. Проведенная аналогия с естествознанием и с лингвистикой не проходит, однако, в одном очень важном пункте. Дело в том, что в отличие и от газа, и от носителей языка ученый сам видит свою задачу в вербализации образцов и в формулировке правил или алгоритмов, усматривая в этом существенную компоненту своей работы. Мы уже отмечали, что формулировка правил — это некоторый новый этап в развитии познания. В древнем Египте не было правил решения математических задач, были только вербализованные образцы. Не получается ли так, что, пытаясь исследовать науку как некоторый социальный объект, мы на самом деле начинаем пытаться эту науку развивать, вторгаясь тем самым в исследование совсем другой области явлений?

Принцип дополнительности при описании социальных норм

Рассмотрим, как соотносятся друг с другом описания реальных механизмов поведения, с одной стороны, и попытки формулировки соответствующих правил, с другой.

Начнем с элементарного примера. Ребенок, которому сказали «это — яблоко» и указали на соответствующий предмет, может потом назвать словом «яблоко» или «обоко» и яйцо, и зеленый карандаш, и многое другое. Образец, в соответствии с которым действует ребенок, мы в данном случае знаем, ибо сами его продемонстрировали. Иными словами, мы знаем тот эстафетный механизм, который объясняет его действия. Но можем ли мы сформулировать некоторое правило, согласно которому действует ребенок, т.е. описать содержание заданного ему образца? Строго говоря, в данной ситуации оно объективно не определено, ибо отдельный образец не задает никакого четкого множества возможных реализаций. Можно возразить: мы же уже описали этот образец, сказав, что указали ребенку на яблоко. Да, описали, но в рамках совсем другого контекста, в рамках сложнейших эстафетных структур языка. Здесь этот образец, действительно, приобретает некоторое относительно определенное содержание, но оно обусловлено не той эстафетной структурой, в которой действовал ребенок. В такой же степени нельзя, наблюдая представленную ситуацию, сказать, что ребенок назвал «обоком» яйцо. Он назвал «обоком» нечто похо-

жее на яблоко, но никак не яйцо. Мы снова зафиксировали феноменологию его поведения в рамках наших эстафетных механизмов, которых нет у ребенка.

Сказанное легко обобщить на анализ любого слова. Как уже отмечалось, слова естественного языка мы используем, как правило, следуя непосредственным образцам словоупотребления. Но образцы сами по себе не задают четкого множества возможных реализаций. Все существенно зависит от эстафетного контекста, от практической ситуации. Иными словами, в практике словоупотребления слово вообще не имеет строго определенного содержания. А это уже означает, что подход, претендующий на вербализацию этого «содержания», не столько его фиксирует, сколько конструирует заново. Фиксируя образцы, в рамках которых слово употребляется, мы не определяем еще его содержания, а, строя содержание, строим тем самым и новую эстафетную структуру. Разве это не дополнительность в квантовомеханическом смысле слова?

На уровне общих рассуждений все выглядит следующим образом. Пусть мы имеем некоторое слово K , которое воспроизводится по образцам в рамках эстафетной структуры S_1 , именно эта структура определяет характер воспроизведения, т.е., если можно так сказать, и «содержание» образцов. Мы ставим слово «содержание» в кавычки, ибо, строго говоря, оно никогда однозначно не определено. Допустим, что мы пытаемся максимально точно отобразить это «содержание» в языке. Но язык — это тоже множество эстафет, и каждое описание — это воспроизведение тех или иных образцов речи. Эти последние существуют в некоторой лингвистической эстафетной структуре S_2 , которая в свою очередь тоже определяет характер их воспроизведения. Таким образом, слово K неизбежно воспринимается в разных контекстах S_1 и S_2 , и имеет поэтому, если опять-таки можно так выразиться, разное «содержание». Описывая эстафетные структуры словоупотребления, мы не определяем однозначно того содержания, которое зафиксировано в описании феноменологии речевого поведения, а феноменологическое описание этого поведения в свою очередь фиксирует содержание, заданное при участии другой эстафетной структуры, эстафетной структуры языка. По сути дела это «содержание» и есть в определенной степени порождение самого языка.

А существует ли вообще это содержание в практике воспроизведения непосредственных образцов? Если и существует, то, строго говоря, мы ничего не можем о нем сказать, ибо сказать — значит породить новое содержание. Но анализ практики воспроизведения образцов дает основания полагать, что такого содержания вообще не

существует или, точнее, оно есть нечто крайне неопределенное. Это обусловлено тем, что практика воспроизведения образцов очень ситуативна и контекст воспроизведения постоянно меняется. Более того, изменение контекста имманентно присуще любой эстафете, ибо каждый акт воспроизведения ее образцов задает новые образцы. Вернемся к ситуации с «обоком». Здесь каждый шаг воспроизведения образцов меняет те условия, в которых ребенок будет действовать дальше. Например, назвав «обоком» яйцо, он подготовил условия, при которых можно обозначить таким же образом любой белый предмет.

Но для более полного сопоставления с квантовой механикой нам тоже нужно ввести такой объект, как прибор. Что выступает в роли прибора при исследовании социальных эстафет? Таким прибором может быть только сам человек. Именно он, взаимодействуя с социальными эстафетами, порождает все их характеристики. Он может быть участником эстафеты и просто воспроизводить образцы, он может осуществлять акты рефлексии и эти образцы описывать. Он при этом постоянно выступает в двух ипостасях, выступает в роли двух разных приборов. В одном случае он просто участник некоторой эстафеты S_1 , в другом — участник эстафет языка и речи S_2 . В первом случае он практически действует, демонстрируя нам реализацию тех или иных образцов, во втором — он их описывает, осуществляя акты рефлексии. Совместимы ли эти две «приборные установки»? Нет, ибо нельзя одновременно работать в двух разных эстафетных структурах.

Если мы, являясь участником некоторой эстафетной структуры, строим в то же время и описания образцов, то у нас два пути: либо мы, следуя образцам, постоянно отказываемся от своих описаний, как это делает Ефтидем в известном диалоге с Сократом, либо мы начинаем действовать в соответствии с описаниями, перестав тем самым быть участником исходной эстафеты.

Возможно, что именно так рассуждал и сам Нильс Бор. Начнем с нескольких его замечаний. В поисках аналогий для квантово-механического принципа дополнительности он писал в 1929 г.: «Строго говоря, глубокий анализ любого понятия и его непосредственное применение взаимно исключают друг друга»⁴. Проходит почти два десятка лет, и в 1948 г. Бор повторяет ту же мысль: «Практическое применение всякого слова находится в дополнительном отношении с попытками его строгого определения»⁵. Что имеется в виду? Сам Бор явно скапится на разъяснения, но нам представляется, что интуиция его не обманывает и приведенные высказывания заслуживают детального анализа. Обратите внимание, Бор фактически утверждает, что в

ходе практического использования слова мы не можем его точно определить, а, дав точное определение, теряем возможность практического использования. Ну, разве это не парадокс?!

В свете представлений о человеке в роли прибора это более или менее понятно. В одной из своих ипостасей он просто практически реализует образцы. Можно даже представить себе экспериментальную ситуацию, когда мы демонстрируем человеку определенный образец деятельности с целью выяснения того, как он будет его воспроизводить. Пример такого эксперимента с ребенком мы уже анализировали. В этой ситуации мы в лучшем случае хотя бы частично выясняем некоторую эстафетную структуру, а «содержание» образца демонстрируется только в виде его реализаций и объективно не определено. Но почему при переходе к точному описанию мы теряем возможность практического использования? Суть в следующем. Практическое использование слова, как мы уже говорили, ситуативно зависит от разных обстоятельств и при его точном определении нам необходимо в той или иной форме абстрагироваться от изменения этих обстоятельств, т.е. построить некоторую идеализацию. Но тогда обнаруживается, что это слово нигде не применимо в реальных ситуациях.

С явлением дополнительности мы постоянно сталкиваемся при попытке занормировать (кодифицировать) ту или иную сферу поведения или деятельности. Трудности, которые при этом возникают, не осознаются, как правило, в форме соответствующего принципа, но его там не трудно увидеть. Просто авторы сплошь и рядом не доводят свой анализ до логического конца.

Одна из таких проблем, при разработке которой дополнительность достаточно очевидна, — это проблема описания языковой нормы или, что то же самое, проблема кодификации. В.А.Ицкович пишет: «Имплицитно норма выступает в виде образца или, точнее, текстов, считаемых образцовыми. В этой своей ипостаси норма проявляется в неявной, несформулированной, неописанной форме, представляет собой, так сказать, «вещь в себе»⁶. Кодификация — это описание объективно существующих образцов, фиксация их содержания. Но здесь мы неизбежно сталкиваемся с уже проанализированными трудностями. В.А.Ицкович пишет: «Кодификация более или менее точно отражает современную ей языковую норму, но, как правило, она никогда не бывает полностью идентична языковой норме. Неадекватность кодификации литературной норме объясняется ...ретроспективностью кодификации, ее ориентацией на образцы, хронологически удаленные от современности»⁷.

А можно ли этого избежать? Из всего изложенного следует, что мы сталкиваемся здесь с принципиальной трудностью. Желая сформулировать точные правила, исследователь должен обеспечить себя эмпирическим материалом, т.е. большим количеством текстов. Но это приводит к ретроспективности кодификации, к отрыву ее от реально функционирующих механизмов речевой деятельности, ибо мы не учитываем при этом нестационарность и эволюцию эстафет. Казалось бы, ошибку можно исправить, если ограничиться текстами, взятыми в достаточно узком срезе времени, однако, как мы видели, отдельно взятые образцы просто не имеют сколько-нибудь определенного содержания. Их описание демонстрирует только возможности нашего языка, языка-описания. Итак, набирая материал, мы отрываемся в своих формулировках от реальной речевой практики, а сужая материал, все больше уходим в сферу неопределенности и произвола.

Итак, языковая норма существует первоначально имплицитно в виде образца и «проявляется в неявной, несформулированной, неопи-санной форме». Ицкович не конкретизирует, что это за способ проявления, но, вероятно, следует говорить о социальных эстафетах. Далее Ицкович утверждает, что кодификация более или менее точно отражает языковую норму, но никогда не бывает полностью ей идентична. Тут явно сквозит предположение, что эта норма объективно представляет собой нечто определенное. А так ли это, если образец не задает точно его возможные реализации? Стоило Ицковичу конкретизировать, что он понимает под формой проявления образца, и я полагаю, он бы пришел к принципу дополнительности.

Приведем теперь пример феноменологического подхода к анализу пословицы, описанный А.А.Крикманном. Автор отмечает, что «пословичный текст оказывается неопределенным «потенциалом» не только по отношению к конкретным возможностям употребления, но и по отношению к своим возможным абстрактным семантическим описаниям: мы можем давать пословице несколько разных описаний, ни одно из которых не будет исчерпывающим и из числа которых трудно предпочесть одно другому»⁸. В качестве иллюстрации автор берет эстонскую пословицу «пустой мешок не стоит». Очевидно, что мы используем пословицу, следуя определенным образцам, а эти образцы не задают четкого множества возможных реализаций. Пословица имеет неопределенный «потенциал» возможных употреблений. Попытаемся, однако, зафиксировать более или менее точно этот «потенциал», т.е. описать содержание пословицы. К чему это приведет? Автор дает несколько описаний и в том числе следующее:

«Если объект, у которого, в зависимости от его сущности или по каким-нибудь внешним и случайным обстоятельствам, отсутствует (или не является реальной) возможность перейти в качественно более высокое или более негэнтропийное состояние, не достигнет этого и в действительности, пока существуют причины, отрицающие или минимизирующие эту возможность (если они не являются сущностными); и если даже он по каким-либо внешним или случайным обстоятельствам попал в это состояние, то не может пребывать в нем после прекращения влияния этих случайных факторов». Такое описание может вызвать только улыбку, но мы приводим его, чтобы подтвердить оценку самого автора, который пишет, что описания такого рода «в значительной мере отражают не свойства самого описываемого объекта, а особенности языка описания и сознания описывающего»⁹. Вот вам один из парадоксов феноменологического подхода. Разве не проглядывает и здесь принцип дополнительности? И разве не относится это полностью к описанию этоса науки?

Задачи и аспекты изучения этоса науки

Перейдем непосредственно к проблемам этики науки. Принцип дополнительности действует и здесь, помогая нам выделить и противопоставить друг другу два совершенно разных подхода к изучению этоса.

Существует уже достаточно старое и традиционное противопоставление наук объясняющих и нормативных. Первые рассматривают явления с точки зрения их объективной обусловленности, вторые — формулируют нормы, которым должно соответствовать наше поведение в тех или иных ситуациях. Этику при этом традиционно относили к числу дисциплин нормативных, однако всегда возникал вопрос: каким образом и на каком материале мы формулируем этические нормы? Вот ответ, данный проф. Г.И.Челпановым в широко известном в начале прошлого века учебнике «Введение в философию»: «Если сказать, что задача этики заключается в определении того, что *должно* быть, то, спрашивается, каким же образом создаются этические идеалы? Здесь возможен один ответ: из того, что *есть*, делается вывод к тому, что *должно* быть; законы долженствования получаются из законов бытия при помощи идеализирования этих последних»¹⁰.

Но не означает ли сказанное, что мы не только предписываем этические нормы, но и описываем их как нечто фактически существующее? Несомненно так, хотя Челпанов, видимо, ошибается, полагая, что из факта существования логически следует долженствование. Но это уже другой вопрос. Не вызывает сомнения, что этику можно

строить как вполне научную дисциплину, изучающую формирование и развитие этических норм, их разнообразие у разных народов и в разные исторические периоды. Правда, в таком понимании она была бы частью не столько философии, сколько культурологии. Научный подход к этике предполагает, как нам представляется, выявление реальных этических традиций, с одной стороны, и анализ осознания содержания этих традиций участниками процесса, с другой. Мы при этом не должны сами претендовать на точную формулировку каких-либо норм, правил или систем ценностей, понимая, что это несовместимо с реальным эстафетным механизмом жизни систем.

Но возможен и совсем другой подход, при котором мы видим свою задачу именно в формулировке определенных норм в форме каких-то правил и предписаний. Чем дальше мы продвигаемся по этому пути, тем больше будет наш отрыв от реальных механизмов, которые регулируют поведение человека. При научном подходе мы тоже не можем в определенной степени избежать описания содержания образцов, но, во-первых, мы при этом понимаем, что попадаем в ситуацию дополнительности и, следовательно, ограничиваем себя, а во-вторых, нас интересуют именно реальные образцы, реальный механизм, определяющий поведение людей. Современные исследования этоса науки идут, как нам представляется, по первому пути, т.е. по пути описания общей феноменологии поведения ученого, безотносительно к анализу механизмов этого поведения. В конечном итоге мы неизбежно приходим здесь к формулировкам, напоминающим попытки точно описать содержание пословиц, которые проанализированы в статье Крикманна.

Конечным итогом такого развития и будет этика как нормативная дисциплина, в рамках которой речь идет не столько об описании реально существующих норм, сколько о проектировании систем ценностей. От модальности существования мы переходим здесь к модальности долженствования. В этих условиях и появляются утверждения типа: ученый должен бескорыстно искать истину; научное знание должно становиться общим достоянием; ученый должен отстаивать свои научные убеждения, но и иметь мужество отказаться от ошибочных утверждений и т.п. Философская этика, как нам представляется, идет именно по этому пути. Ее утверждения существенно отличаются от научных. Последние претендуют на истинность, первые не являются ни истинными, ни ложными. Действительно, утверждение «Аристипп считал высшим благом удовольствие», вероятно, является истинным, или, по крайней мере, его можно пытаться обосновать, исходя из имеющихся свидетельств.

А вот утверждение «Удовольствие следует считать высшим благом» не является ни истинным, ни ложным. Его нельзя доказать, его можно только проповедовать.

Как же соотносятся эти два подхода или две парадигмы мышления? Нам представляется, что они дополнительны, но не в тривиально бытовом смысле слова, а в том, который вложила в этот термин квантовая механика. Начнем с того, что реально существующие этические нормы, в рамках которых человек осуществляет свое поведение, как правило, нигде не сформулированы и представляют собой нечто достаточно неопределенное. Они напоминают нормы языка, нарушение которых мы чувствуем, но которые не способен четко зафиксировать ни один носитель языка. Нормы такого рода существуют на уровне воспроизведения непосредственных образцов поведения и оценки, а образцы не задают четкого множества возможных реализаций. Иными словами, имея дело с реальной практикой речевого или этического поведения, мы можем зафиксировать механизмы этого поведения, но никак не точные правила, ибо сам механизм противоречит их существованию.

Допустим теперь, что мы сами сконструировали эти правила, сконструировали, как отмечает Челпанов, путем «идеализирования». Отмечает он это отнюдь не случайно, ибо, как мы уже отмечали, любая попытка сформулировать какое-либо общее утверждение, не учитывающее конкретных ситуативных обстоятельств, требует идеализации. Но это фактически означает, что точным правилам невозможно следовать в практической деятельности. Вспомним механику, которая формулирует свои законы для материальных точек и твердых тел, т.е. для объектов, которых в эмпирической реальности просто не существует. Вот и получается, как это ни парадоксально, что при изучении реально существующих норм этики мы не можем их точно сформулировать, не имея для этого оснований, а попытки чисто теоретического построения таких формулировок приводят к невозможности их практической реализации. Думаю, что именно ситуация дополнительности заставила А.Швейцера признать, что чистая совесть — это выдумка дьявола.

Сказанное об этике легко обобщить и перенести на другие разделы философии, например на философию науки. Последняя изучает нормы научного познания, которые опять-таки существуют прежде всего на уровне воспроизведения непосредственных образцов. Мы можем исследовать механизм существования и воспроизведения этих норм, а можем поставить задачу их теоретического конструирования, реализуя таким образом два дополнительных подхода. Второй из них

уже давно получил название методологии. Но философия науки не может изучать нормы в полной абстракции от их содержания, а методология в свою очередь должна осознавать природу и место создаваемых ей теоретических конструкций.

Проблема проектирования этических норм

Как следует из предыдущего, мы вовсе не отрицаем задачи конструирования норм, построения этических кодексов и т.п. Иными словами, не отрицаем возможности и значимости проектирующей нормативной этики. Нам важно только зафиксировать специфику этого подхода. Однако следует отметить, что такое конструирование вовсе не представляет собой некоторого произвольного акта. Здесь тоже возникают свои проблемы и ограничения. Остановимся на одной из таких проблем.

Очевидно, что нам следует выяснить, как соотносится исследование или проектирование этоса науки с анализом или методологическим проектированием ее нормативной структуры в целом. Строго говоря, наука в принципе представляет собой набор некоторых норм или социальных программ, связанных друг с другом. Открытие этого исключительно важного факта принадлежит Т.Куну. Ценностные установки — это только один из элементов его «дисциплинарной матрицы», и они согласно его представлениям достаточно разнообразны и специфичны, включая в себя множество предпочтений, которыми руководствуется ученый при выборе проблем или теорий, при оценке строгости рассуждений, при определении направлений исследования или, наконец, при оценке значимости науки в целом. Это не столько этика науки, сколько методология. Что же мы должны изучать или проектировать? Б.Г.Юдин высказал в одной из своих работ замечательную мысль: «Коль скоро познание регулируется нормами, пусть даже нормами познавательными и методологическими, следование им или пренебрежение ими выступает и как акт морального выбора, предполагающий ответственность ученого перед своими коллегами и перед научным сообществом, т.е. его профессиональную ответственность»¹¹. Мы целиком согласны с этим утверждением, но из него следует, что нормативная этика науки в значительной степени бессодержательна и сводится к утверждению типа: следуй лучшим образцам. Содержательная конкретизация этих образцов неизбежно уводит нас в анализ уже не этических, а познавательных норм.

Сказанное можно обобщить. Ученый не может руководствоваться в своей деятельности только профессиональными ценностями. Правда, почти до середины нашего века по крайней мере фундаменталь-

ная наука могла еще жить относительно замкнуто и обособлено, почти не замечая своего влияния на другие сферы культуры или практической жизни. Общеизвестно, что уже взрыв первой атомной бомбы превратил представления подобного рода в несбыточные иллюзии. Фундаментальная наука встала перед необходимостью осознать отдаленные последствия своего стремления к истине, что сразу же вывело ее в мир общекультурных ценностных ориентаций. Образно выражаясь, атомный взрыв имел своим следствием взрыв аксиологический, который лишил фундаментальную науку ее ценностной замкнутости и обособленности. Но тогда тезис «следуй лучшим образцам» приобретает общее звучание, выводя нас далеко за пределы этоса науки.

Рассмотрим этот вопрос на общем и принципиальном уровне. Мы утверждаем следующее: ориентация на достижение конкретных результатов всегда приводит к проблеме цели и средств. Поэтому этику нельзя строить на базе декларирования конкретных ценностей типа, например, истины, или демократии, или представлений о счастье всего человечества. Такое построение неизбежно окажется противоречивым.

Автор известного в свое время курса этики Фр. Паульсен, обсуждая проблему цели и средств, пишет следующее: «Оправдывает средства не любая дозволенная, но лишь одна определенная *цель*, из которой исходит всякая оценка: а именно, высшее благо, *благополучие или совершенная форма жизни человечества*»¹². В рамках этой цели, с точки зрения автора, обсуждаемый тезис «не только стоит вне сомнения, но и необходим»¹³.

Нам, однако, такой ход мысли представляется крайне сомнительным и даже опасным. Опыт двадцатого столетия убедительно показал, что нет таких преступлений, которые нельзя было бы оправдать ссылками на достижение общечеловеческого благоденствия. Но дело не только в эмпирической панораме нашей истории, хотя она и сама по себе достаточно красноречива. Сам факт косвенного этического оправдания поступка ссылкой на будущее означает, что в настоящем этот поступок этически не оправдан. Но не получается ли тогда так, что, стремясь к высшему благу в будущем, мы неминуемо влезем в безнравственности уже на первых шагах пути?

Как же быть? Можно предположить, что на средства наложены какие-то ограничения, но это неминуемо ведет к противоречию. Допустим, к примеру, что все наши устремления направлены на достижение результата P_1 , который и выступает как абсолютное благо. Стремясь избежать хаоса вседозволенности, мы постулируем, что на пути к достижению P_1 нельзя жертвовать P_2 . Это, однако, противоречит

нашему исходному предположению, ибо означает, что абсолютным благом и конечной целью всех устремлений является не P_1 , а как раз P_2 . Можно теперь начать наши рассуждения с самого начала, накладывая ограничения P_3 на средства, ведущие к P_2 , но мы снова придем к противоречию. Это и понятно, ибо само понятие абсолютного блага противоречит возможности каких-либо ограничений. Итак, с одной стороны, никакое абсолютное благо в будущем не оправдывает вседозволенности в настоящий момент, с другой — всякие ограничения этой вседозволенности с позиций каких-либо иных ценностных установок противоречат абсолютности конечной цели.

Напрашивается следующий выход из положения: некоторое абсолютное благо P_1 , к достижению которого мы стремимся, само накладывает ограничения на используемые средства. Двигаясь к P_1 , мы не должны им жертвовать, мы должны сохранять его на каждом шагу. Но не означает ли это, что P_1 уже достигнуто? Действительно, мы уже не можем теперь представить дело так, что P_1 расположено где-то в самом конце траектории нашего движения. Скорее речь идет о том, что мы постоянно находимся в некоторой области P_1 и должны следить за тем, чтобы не выйти за границы этой области. Но тогда и представление о траектории движения к P_1 теряет смысл.

Тезис, способный избавить нас от затруднений, звучит парадоксально, но вполне допускает конкретные интерпретации: абсолютное благо всегда непосредственно достижимо, и только то, что удовлетворяет этому условию, может быть абсолютным благом. Иными словами, подлинные цели не требуют пути, не требуют траектории, а следовательно, и использования каких-либо средств. Они требуют только того, чтобы мы оставались в некоторой области и не нарушали ее границы. Это не определение, но это одно из необходимых условий. Допустим, вы хотите быть честным человеком. Требуется ли это от вас пути к достижению цели? Нет, ибо, если вы действительно хотите быть честным, вам ничто не мешает быть им с той же минуты. То же относится и к достижению других нравственных ценностей: доброты, порядочности, гуманизма...

Мы получаем, таким образом, два типа ценностных ориентаций. Одни цели непосредственно достижимы, другие требуют определенной деятельности для своей реализации. Истина, например, не может принадлежать, с этой точки зрения, к абсолютным ценностям, ибо мы можем говорить о деятельности ученого, стремящегося к достижению истины. А можно ли говорить о деятельности, направленной на то, чтобы быть честным или быть добрым? Вероятно, нет, если речь не идет о воспитании других людей. Жизнь человека — это тоже

не абсолютная ценность, ибо мы можем говорить о деятельности врача, пытающегося спасти эту жизнь. А там, где есть деятельность, возникает и вопрос о допустимости тех или иных средств со всеми уже рассмотренными последствиями.

Что же можно выдвинуть в качестве абсолютной ценности в свете современных глобальных проблем? Как бы ни развивалась наука, она не может стремиться к уничтожению человеческой культуры, т.е. к уничтожению и самой себя в том числе. Именно культура как нечто развивающееся, ее сохранение и воспроизведение в ее лучших образцах и традициях может выступить в качестве абсолютной ценности, задающей главные ориентиры как науке, так и другим сферам человеческой деятельности. Мы сказали: «Культура в ее лучших образцах и традициях», не предполагая при этом каких-то дополнительных ценностных установок. Лучшее — это как раз то, что исторически способствовало сохранению и воспроизведению культуры. Образец Герострата — это не образец для воспроизведения, а образец-запрет, но как запрет он тоже представляет ценность и входит, образно выражаясь, в генофонд ценностей человечества.

Говоря о культуре, не будем пытаться дать какое-либо формальное ее определение. Но, как уже должно быть ясно, мы понимаем под этим множество традиций, множество образцов человеческого поведения, образцов деятельности и ее результатов, постоянное воспроизведение которых делает нас людьми, обладающими языком, сознанием, искусством, современной индустрией, наукой и т.д.

Мы все живем в культуре и благодаря культуре. Она передается от поколения к поколению по принципу множества эстафет, напоминая волну, которая сохраняет и уносит с собой в будущее наш накопленный опыт, как позитивный, так и трагический. Наш долг, воспринимая эту «волну» или «эстафету», нести ее дальше на своих плечах, внося в нее по возможности частицу собственной жизни и передавая дальше. Это наши социальные «гены», залог нашего социального бессмертия. Культура в этом понимании и образует, как нам представляется, абсолютную ценность. И это становится все более очевидным перед лицом современных глобальных проблем.

Стремление к истине, поскольку это одна из культурных традиций, в рамках которой жила и развивалась наука, сохраняется и в условиях новых ценностных ориентаций. Само это стремление рассматривается здесь как ценность, которую надо сохранять и воспроизводить наряду со многими другими ценностными установками и традициями. Но ученый теперь вынужден расширить свой кругозор и сферу опеки, заботясь о всех обозримых последствиях своих иссле-

дований с точки зрения их воздействия на культуру. Озабоченность такого рода мы повсеместно встречаем у крупнейших ученых нашего века. В их лице наука, с одной стороны, все больше теряет свою аксиологическую обособленность в отношениях с другими сферами деятельности, а с другой — все больше осознает значимость своих ценностных предпосылок и специфику аксиологических проблем вообще. «Мы должны также заботиться о том, — писал Макс Борн, — чтобы научное абстрактное мышление не распространялось на другие области, в которых оно неприложимо. Человеческие и этические ценности не могут целиком основываться на научном мышлении»¹⁴.

Остается ответить на вопрос, какие ограничения накладываются при этом на сам процесс научной деятельности, какие средства запрещены при достижении поставленной цели. Ответ очевиден: недопустимо то, что приводит к разрушению культуры. В принципе это не ново.

Каждый ученый в своей работе должен следовать принятым в науке традициям, не нарушая логики рассуждений, не противореча установленным принципам и законам, опираясь на существующие методы. В противном случае его работа просто не будет научной, не будет соответствовать нормам научности. Но в такой же степени ученый должен следовать идеалам и нормам культуры вообще. Недопустима, например, жестокость в научных экспериментах, ибо это задает образцы, разрушающие культуру. Еще Диккенс обратил внимание на то, что публичные смертные казни не уменьшают, а увеличивают количество преступлений: «Зрелище жестокости порождает пренебрежение к человеческой жизни и ведет к убийству»¹⁵. Этический принцип благоговения перед жизнью, сформулированный А. Швейцером, фактически вытекает из сказанного в качестве одного из простых следствий. Швейцер прав, что нельзя наступать на дождевого червя, переползающего через дорогу. Но в основе здесь лежит благоговение перед лучшими традициями человечества, стремление быть и остаться Человеком.

Итак, исходя из сказанного, мы получаем основной принцип этики: следуй лучшим образцам и тем самым воспроизводи их в Культуре. Золя писал: «Если вы спросите меня, зачем я, художник, пришел в этот мир, я отвечу вам: «Я пришел, чтобы прожить свою жизнь во всеуслышание»»¹⁶. Современный ученый оказывается в таком же положении: он живет во всеуслышание. Более того, он обязан так жить. Во-первых, наука стала слишком опасной в своих возможных разнообразных «мутациях», чтобы ее прятать в стенах многочисленных лабораторий. Во-вторых, только живя во всеуслышание, можно воспроизводить культуру.

Это прекрасно понимал Э.Золя. «Я художник, — писал он, — я отдаю вам свою плоть и кровь, свое сердце, свои мысли. Я стою перед вами обнаженный догола и предаюсь вам на суд, каков я есть, — хороший или дурной. Если вам нужно поучение, смотрите на меня, выразите свое впечатление аплодисментами или свистками, и пусть мой пример вдохновит или предостережет вас»¹⁷. Говоря о художнике, Золя прекрасно описывает позицию любого человека, ориентированного на культуру.

Каждый шаг человека, если он воспроизводит при этом лучшие культурные образцы, его речь, его улыбка в общении с другим человеком, его доброжелательность и готовность ответить на вопрос... — все это есть сохранение и воспроизведение Культуры, т.е. достижение Блага. К этому не надо долго идти, это не надо искать, это рядом. Но в такой же степени и в научной работе важны не только достижения, отчуждаемые в виде знаний, но и сам процесс стремления к ним. Иными словами, не каждому дается в руки Истина, но каждый может ей служить. И нельзя не согласиться с Генрихом Гейне: «Не только творчество, не только оставшиеся после нас труды дают право на почетное признание после смерти, но и стремление само по себе, в особенностях, пожалуй, стремление неудачное, потерпевшее крах»¹⁸.

Но не приходим ли мы тем самым к отрицанию научного творчества, к отрицанию науки как потока новаций? Нет, ибо творчество — это не столько разрушение традиций, сколько их сохранение в новых, изменяющихся условиях. Творчество и сохранение не противоречат друг другу. Очевидно, что памятник архитектуры будет разрушен, если его оставят просто на произвол судьбы. Сохранение требует изменения. Культура в целом сохраняется и воспроизводится, только постоянно изменяясь. Борис Пастернак писал: «Новое возникает не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца»¹⁹. Это мнение поэта, а вот аналогичное мнение физика В.Гейзенберга, которого, как и Б.Пастернака, едва ли можно упрекнуть в отсутствии творческих устремлений: «В науке хорошую и плодотворную революцию можно совершить только тогда, когда мы пытаемся внести как можно меньше изменений...»²⁰. И символом глубочайшего уважения к наследию культурного прошлого звучит восклицание Эйнштейна в его автобиографии: «Прости меня, Ньютон...»²¹.

Примечания

- 1 *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. С. 13.
- 2 *Слобин Д., Грин Дж.* Психолингвистика. М., 1976. С. 103.
- 3 Там же. С. 106.
- 4 *Бор Н.* Избр. науч. труды. Т. II. М., 1971. С. 58.
- 5 Там же. С. 398.
- 6 *Ицкович В.А.* Очерки синтаксической нормы. М., 1982. С. 10.
- 7 Там же. С. 12.
- 8 *Крикманн А.А.* Некоторые аспекты семантической неопределенности пословицы // Паремнологический сборник. М., 1978. С. 86.
- 9 Там же.
- 10 *Челпанов Г.* Введение в философию. М., 1912. С. 316.
- 11 Философия и методология науки /Под ред. В.И.Купцова. М., 1996. С. 471–472.
- 12 *Паульсен Фр.* Основы этики. М., 1906. Вып. 2. С. 234.
- 13 Там же.
- 14 *Борн М.* Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 128.
- 15 *Диккенс Ч.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 28. М., 1962. С. 55.
- 16 *Золя Э.* Собр. соч. Т. 24. М., 1966. С. 21.
- 17 Там же. С. 19.
- 18 *Гейне Г.* Собр. соч. Т. 7. М., 1958. С. 183.
- 19 *Пастернак Б.Л.* Охранная грамота // *Пастернак Б.* Воздушные пути. М., 1982. С. 256–257.
- 20 *Гейзенберг В.* Физика и философия Часть и целое. М., 1989. С. 267.
- 21 *Эйнштейн А.* Собр. науч. трудов. Т. 4. С. 270.